

Антон Павлович Чехов

Два газетчика
(Рассказы)

Антон Павлович Чехов ДВА ГАЗЕТЧИКА

(НЕПРАВДОПОДОБНЫЙ РАССКАЗ)

Рыбкин, сотрудник газеты «Начихать вам на головы!», человек обрюзглый, сырой и тусклый, стоял посреди своего номера и любовно поглядывал на потолок, где торчал крючок, приспособленный для лампы. В руках у него болталась веревка.

«Выдержит или не выдержит? — думал он. — Оборвется, чего доброго, и крючком по голове... Жизнь анафемская! Даже повеситься путем негде!»

Не знаю, чем кончились бы размышления безумца, если бы не отворилась дверь и не вошел в номер приятель Рыбкина, Шлепкин, сотрудник газеты «Иуда предатель», живой, веселый, розовый.

— Здорово, Вася! — начал он, садясь. — Я за тобой... Едем! В Выборгской покушение на убийство, строк на тридцать... Какая-то шельма резала и не дорезала. Резал бы уж на целых сто строк, подлец! Часто, брат, я думаю и даже хочу об этом писать: если бы человечество было гуманно и знало, как нам жрать хочется, то оно вешалось бы, горело и судилось во сто раз чаще. Ба! Это что такое? — развел он руками, увидев веревку. — Уж не вешаться

ли вздумал?

— Да, брат... — вздохнул Рыбкин. — Шабаш... прощай! Опротивела жизнь! Пора уж...

— Ну, не идиотство ли? Чем же могла тебе жизнь опротиветь?

— Да так, всем... Туман какой-то кругом, неопределенность... безызвестность... писать не о чем. От одной мысли можно десять раз повеситься: кругом друг друга едят, грабят, топят, друг другу в морды плюют, а писать не о чем! Жизнь кипит, трещит, шипит, а писать не о чем! Дуализм проклятый какой-то...

— Как же не о чем писать? Будь у тебя десять рук, и на все бы десять работы хватило.

— Нет, не о чем писать! Кончена моя жизнь! Ну, о чем прикажешь писать? О кассирах писали, об аптеках писали, про восточный вопрос писали... до того писали, что всё перепутали и ни черта в этом вопросе не поймешь. Писали о неверии, тещах, о юбилеях, о пожарах, женских шляпках, падении нравов, о Цукки... Всю вселенную перебрали, и ничего не осталось. Ты вот сейчас про убийство говоришь: человека зарезали... Эка невидаль! Я знаю такое убийство, что человека повесили,

зарезали, керосином облили и сожгли — всё это сразу, и то я молчу. Наплевать мне! Всё это уже было, и ничего тут нет необыкновенного. Допустим, что ты двести тысяч украл или что Невский с двух концов поджег, — наплевать и на это! Всё это обыкновенно, и писали уж об этом. Прощай!

— Не понимаю! Такая масса вопросов... такое разнообразие явлений! В собаку камень бросишь, а в вопрос или явление попадешь...

— Ничего не стоят ни вопросы, ни явления... Например, вот я вешаюсь сейчас... По-твоему, это вопрос, событие; а по-моему, пять строк петита — и больше ничего. И писать незачем. Околевали, околевают и будут околевать ничего тут нет нового... Все эти, брат, разнообразия, кипения, шипения очень уж однообразны... И самому писать тошно, да и читателя жалко: за что его, бедного, в меланхолию вгонять?

Рыбкин вздохнул, покачал головой и горько улыбнулся.

— А вот если бы, — сказал он, — случилось что-нибудь особенное, этакое, знаешь, защитительное, что-нибудь мерзейшее, распере-

подлое, такое, чтоб черти с перепугу передохли, ну, тогда ожил бы я! Прошла бы земля сквозь хвост кометы, что ли, Бисмарк бы в магометанскую веру перешел, или турки Калугу приступом взяли бы... или, знаешь, Нотовича в тайные советники произвели бы... одним словом, что-нибудь зажигательное, отчаянное, — ах, как бы я зажил тогда!

— Любишь ты широко глядеть, а ты попробуй помельче плавать. Вглядись в былинку, в песчинку, в щелочку... всюду жизнь, драма, трагедия! В каждой щепке, в каждой свинье драма!

— Благо у тебя натура такая, что ты и про выеденное яйцо можешь писать, а я... нет!

— А что ж? — окрысился Шлепкин. — Чем, по-твоему, плохо выеденное яйцо? Масса вопросов! Во-первых, когда ты видишь перед собой выеденное яйцо, тебя охватывает негодование, ты возмущен!! Яйцо, предназначенное природою для воспроизведения жизни индивидуума... понимаешь! жизни!.. жизни, которая в свою очередь дала бы жизнь целому поколению, а это поколение тысячам будущих поколений, вдруг съедено, стало жертвою

чревоугодия, прихоти! Это яйцо дало бы курицу, курица в течение всей своей жизни снесла бы тысячу яиц... — вот тебе, как на ладони, подрыв экономического строя, заедание будущего! Во-вторых, глядя на выеденное яйцо, ты радуешься: если яйцо съедено, то, значит, на Руси хорошо питаются... В-третьих, тебе приходит на мысль, что яичной скорлупой удобряют землю, и ты советуешь читателю дорожить отбросами. В-четвертых, выеденное яйцо наводит тебя на мысль о бренности всего земного: жило и нет его! В-пятых... Да что я считаю? На сто номеров хватит!

— Нет, куда мне! Да и веру я в себя потерял, в уныние впал... Ну его, всё к чёрту!

Рыбкин стал на табурет и прицепил веревку к крючку.

— Напрасно, ей-богу напрасно! — убеждал Шлепкина. — Ты погляди: двадцать у нас газет и все полны! Стало быть, есть о чем писать! Даже провинциальные газеты, и те полны!

— Нет... Спящие гласные, кассиры... — забормотал Рыбкин, как бы ища за что ухватиться, — дворянский банк, паспортная система... упразднение чинов, Румелия... Бог с

ними!

— Ну, как знаешь...

Рыбкин накинул себе петлю на шею и с удовольствием повесился. Шлепкин сел за стол и в один миг написал: заметку о самоубийстве, некролог Рыбкина, фельетон по поводу частых самоубийств, передовую об усилении кары, налагаемой на самоубийц, и еще несколько других статей на ту же тему. Написав всё это, он положил в карман и весело побежал в редакцию, где его ждали мзда, слава и читатели.